

Annotation

Маленькие улочки в матросских кварталах портовых городов живут только по ночам. Опущенные ставни скрывают от взоров дебри страстей, зрелища и азарт, самые низкие и возвышенные приключения. А днем под серыми холодными масками узнать их может только посвященный.

-
- [Стефан Цвейг](#)
 -
 - [notes](#)
 - [1](#)
-

Стефан Цвейг

Улица в лунном свете

Пароход, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани; ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло, таким образом, провести лишний день в незнакомом месте, а вечер не сулил никаких развлечений, кроме унылой музыки дамского оркестра в каком-нибудь увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, тем более что на губах у меня еще соленым холодком отдавалось чистое дыхание моря. Я пошел поэтому наудачу, по широкой светлой улице, в сторону площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда — еще дальше, среди неторопливого потока гуляющих. Сначала мне было приятно так безвольно покачиваться в волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы, но все же мне вскоре стала несносна эта близость чужих людей, их отрывистый смех, глаза, которые останавливались на мне с удивлением, отчужденностью или усмешкой, прикосновения, незаметно толкавшие меня вперед, свет, льющийся из тысячи источников, и непрерывное шарканье шагов. Морскому плаванию сопутствовало непрерывное движение, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство дурмана; все еще под ногами ощущались качка и зыбь, земля словно дышала и приподнималась, а улица как бы уходила в небо. Голова у меня вдруг закружилась, и, чтобы укрыться от шума, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, оттуда — в другой, поуже, где постепенно

стал замирать нестройный гомон, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту разветвленных, точно жилы, улочек, все более темных по мере того, как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны центральных улиц, здесь не горели, и благодаря скудному освещению я, наконец, снова увидел звезды и черное облачное небо.

Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале, — это чувствовалось по острому запаху рыбы, по тому сладковатому гнилостному запаху, какой сохраняют водоросли, даже выброшенные прибоем на берег, по тому присущему затхлым помещениям чаду, которым пропитаны такие закоулки, пока сильная буря не опашнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество, я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, — и ни одна из них не была похожа на свою соседку; одни были миролюбивы, другие — разгульны, но все погружены во тьму и полны глухим шумом голосов и музыки, так таинственно льющихся из-под темных сводов, что почти нельзя было угадать его скрытого источника, ибо все дома были заперты и только мигали красным или желтым огоньком.

Я люблю эти улицы в чужих городах, этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей в чужих и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие томительные сны. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти узенькие переулки, ибо они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Музыка призывно звучит здесь в тесных зальцах, кинематографы своими кричащими афишами обещают неслыханное великолепие, четырехгранные фонарики,

приютившись под воротами, подмигивают приветливо и недвусмысленно, сквозь приоткрытые двери мелькает обнаженное тело под позолоченной мишурой. Из кабаков доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречаются друг друга, их глаза горят от предвкушения, ибо здесь есть все: вино и женщины, зрелища и азарт, самые низкие и самые возвышенные приключения. Но все это робко и все же предательски-явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями, все скрыто от взоров, и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Улицы эти одни и те же и в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване, они похожи друг на друга, как схожи между собой роскошные проспекты больших городов, потому что верхи и низы жизни повсюду имеют то же внешнее обличие. Последние причудливые остатки хаотически-чувственного мира, где инстинкты еще действуют грубо и необузданно, темные дебри страстей, кишачие похотливым зверьем, — таковы эти отверженные улицы, волнующие тем, что в них мерещится, и прельщающие тем, что в них скрыто. О них можно грезить.

Такою была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. Наудачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли бряцали по неровной мостовой. Из одного кабака их окликнули какие-то женщины; они рассмеялись и ответили грубыми шутками, один из них постучал в окно, потом где-то раздалась брань, они пошли дальше; смех звучал все глуше и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина обман и что в мгlistом чаду этой улицы тлеет нечто от гнили нашего мира. Но я стоял, не двигаясь, и

прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; я признавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью, и все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Только одно чувство владело мной: ничто здесь не происходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне, — то блаженное чувство глубочайшего и подлиннейшего переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается мое существо при каждом соприкосновении с неведомым. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял среди пустынной улицы, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этой лунатической настороженности в пустоте, до моего слуха донеслась немецкая песня, она звучала приглушенно, не то из-за стены, не то откуда-то очень издалека; женский голос пел бесхитростную мелодию из «Вольного стрелка»^[1]: «Дивный, девственный венок», пел очень плохо, но все же то была немецкая мелодия — здесь, в чужом закоулке мира, и потому как-то особенно родная. Песня доносилась неведомо откуда, но для меня она звучала приветом, первым после долгой разлуки приветом родины. Кто говорит здесь на моем языке, спрашивал я себя, в этом глухом закоулке, из чьей груди ожившее воспоминание исторгло этот простенький напев? Я пошел на голос вдоль темных, точно дремлющих домов с закрытыми ставнями, за которыми предательски мелькали огни, а иногда и манящая рука. Кое-где висели крикливые надписи, яркие афиши, и притаившийся кабачок сулил виски, пиво, эль, но все было заперто, неприступно и вместе с тем зазывало прохожих. Иногда вдалеке раздавались шаги, но голос звучал непрерывно, все

громче выводя припев и все приближаясь; наконец, вот и нужный мне дом. Немного поколебавшись, я подошел к внутренней двери, плотно занавешенной белыми шторами. Но в этот миг что-то шевельнулось в потемках, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно отскочила, и я увидел лицо, залитое красным светом фонаря и все же бледное от ужаса; мужчина растерянно посмотрел на меня, пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Станным он мне показался. Я посмотрел ему вслед. Ускользавший силуэт его был еще смутно виден. Изнутри по-прежнему доносилось пение все громче, все призывнее. Я отворил дверь и быстро вошел.

Песня оборвалась, точно отрезанная ножом, и я с испугом почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Лишь постепенно взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приспущенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые двери. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная женщина с утомленным лицом, за стойкой хозяйка, тучная, какая-то грязновато-серая, и еще одна, довольно миловидная, девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, и только после паузы послышался вялый ответ. Мне стало не по себе от этого принужденного тоскливого молчания, и я охотно повернул бы обратно, но не находил для этого предлога, а потому покорно уселся за стол. Женщина у стойки, вспомнив о своих обязанностях, спросила, что мне подать, и по ее выговору я сразу угадал в ней немку. Я заказал пива. Она пошла и принесла пиво, и в ее походке еще яснее

выражалось равнодушие, чем в тусклых глазах, едва мерцавших из-под век, словно угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, лениво скользнул мимо меня: я мог без помехи рассмотреть ее. Лицо у нее было в сущности еще красивое, с правильными чертами, но, словно от душевного измождения, огрубело и застыло, как маска; все в нем было дрябло; веки — припухшие, волосы — обвисшие; одутловатые щеки, в пятнах дешевых румян, уже спускались широкими складками ко рту. Платье тоже было накинуто небрежно, голос — сиплый от табачного дыма и пива. Все говорило о том, что передо мною человек смертельно усталый, продолжающий жить только по привычке, ничего не чувствуя. Мне стало жутко, и, чтобы нарушить молчание, я задал ей какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня, равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Я чувствовал себя лишним. Хозяйка зевала, другая девушка сидела в углу, поглядывая на меня, как будто ждала, что я ее позову. Я рад был бы уйти, но не мог сдвинуться с места и тупо, словно захмелевший матрос, сидел в затхлой, душной комнате, прикованный к стулу любопытством, — было что-то пугающее и непонятное в царившем здесь равнодушии.

И вдруг я вздрогнул, услышав резкий хохот сидевшей подле меня женщины. В ту же минуту лампа замигала: по сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь.

— Опять пришел? — насмешливо и злобно крикнула она по-немецки. — Опять уже бродишь вокруг дома, ты, сквалыга? Ну, да уж входи, я тебе ничего не сделаю.

Я круто повернулся сначала к ней, так пронзительно крикнувшей эти слова, точно пламя вырвалось из нее, а потом к входной двери. И еще не успела она открыться,

как я узнал пошатывающуюся фигуру, узнал смиренный взгляд того самого человека, что стоял в подъезде, словно прилипнув к дверям. Он робко, как нищий, держал шляпу в руке и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал грузную фигуру женщины и на который хозяйка за стойкой отозвалась торопливым шепотом.

— Туда садись, к Франсуазе, — приказала женщина бедняге, когда он, крадучись, опасливо ступил шаг вперед. — Видишь, у меня гость.

Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, по-видимому, знаком.

— Дай ему шампанского, Франсуаза! Принеси бутылку того, что подороже! — со смехом крикнула она и опять обратилась к нему: — Если для тебя дорого, оставайся на улице, скряга несчастный. Хотелось бы тебе, небось, бесплатно глазеть на меня, я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно.

Длинная фигура посетителя съежилась от этого злого смеха, спина согнулась, лицо отворачивалось, словно хотело спрятаться, и рука, которая взялась за бутылку, так сильно дрожала, что вино пролилось на стол. Он силился поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бесцельно блуждали по кафельным плиткам. Теперь только, при свете лампы, я разглядел это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные, жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные запястья — убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривлено, сдвинуто было в нем все и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, вспыхнул злым огоньком.

— Не обращайтесь на него внимания, — сказала мне женщина по-французски и взяла меня за локоть, точно хотела силой повернуть к себе. — У меня с ним старые

счета, не со вчерашнего дня. — И опять крикнула ему, оскалив зубы, точно для укуса: — Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду.

Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо ослабившись; очевидно, это была для них обычная забава, повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как Франсуаза под села к нему и с напускной нежностью начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отвергнуть; страх охватывал меня каждый раз, как его блуждающий взгляд униженно и подобострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом со мной, очнувшаяся вдруг от спячки и искрившаяся такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.

— Если он мешает тебе, я его выгоню вон, собаку. Он должен слушаться. Выпей-ка еще стакан со мною. Иди сюда.

Она прижалась ко мне в неожиданном страстном порыве, разумеется, наигранном, только чтобы помучить того. Она все косилась в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал, точно от прикосновения раскаленного железа. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и с трепетом видел, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, желания и зависти, и как он сразу весь съеживался, чуть только она поворачивала к нему голову. Она все крепче прижималась ко мне, я чувствовал, как она дрожит, наслаждаясь жестокой игрой, и меня жуть брала от ее накрашенного, пахнувшего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отодвинуться от нее, я достал сигару, и не успел я поискать глазами

спички, как она уже властно крикнула ему: — Дай закурить!

Я испугался еще больше, чем он, столь гнусного требования его услуг и порывисто схватился за карман в поисках спичек; но, подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своею кривой, шаткой поступью и быстро, словно боясь обжечься, если дотронется до стола, положил на него свою зажигалку. На мгновение наши взгляды скрестились: бесконечный стыд прочел я в его глазах и яростное ожесточение. И этот порабощенный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, до какого унижения довела его женщина, и устыдился вместе с ним.

— Очень вам благодарен, — сказал я по-немецки (она встrepенулась), — напрасно побеспокоились. — И я подал ему руку. Долгое колебание, потом я ощутил влажные, костлявые пальцы и вдруг — судорожное, признательное пожатие. На секунду его глаза блеснули, встретив мой взгляд, потом опять скрылись под опущенными веками. Назло женщине я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, рука моя уже поднялась для приглашающего жеста, потому что она торопливо прикрикнула на него: — Ступай в свой угол и не мешай нам!

Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому, язвительному голосу, к этому мерзкому мучительству. На что мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный мужчина, этот чад от пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично высвободился из ее объятий, когда она попыталась удержать меня. Мне претило участвовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно ей показал, как мало меня прельщают ее ласки. Тогда в ней вспыхнула злоба, она открыла было рот, но все же не решилась разразиться бранью и вдруг, в порыве непритворной ненависти,

повернулась к нему. Он же, чуя недоброе, торопливо и словно подстегиваемый ее угрожающим видом, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он явно боялся остаться теперь с ней наедине и впопыхах не мог распутать узел кошелька, — это был вязаный кошелек, вышитый бисером, какие носят крестьяне и мелкий люд. Легко было заметить, что он не привык быстро тратить деньги, не в пример матросам, которые достают их пригоршнями из кармана и швыряют на стол; он, видимо, знал счет деньгам и, прежде чем расстаться с монетой, любил подержать ее в руке.

— Как он дрожит за свои милые денежки! Не идет дело? Погоди-ка! — глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, а она, при виде его испуга, сказала, пожав плечами, и с неописуемым омерзением во взгляде: — Я у тебя ничего не возьму, плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата, ни одного гроша лишнего не выпустишь. Но только, — она неожиданно похлопала его по груди, — как бы кто не украл у тебя бумажки, зашитые тут.

И вправду, как сердечный больной внезапно судорожно хватается за сердце, так он прижал бледную и дрожащую руку к груди, невольно ощупывая пальцами потайное местечко, и, успокоившись, опустил ее. — Скряга, — выплюнула она. Но тут лицо мученика побагровело, он с размаха бросил кошелек Франсуазе, — та сначала вскрикнула от испуга, а затем расхохоталась, — и ринулся мимо нее к двери, точно спасаясь от пожара.

Женщина мгновение стояла выпрямившись, вся пылая злой яростью. Потом опять вяло опустились веки, устало ссутулились плечи Старой, утомленной сделала она в одну минуту. Какая-то растерянность мелькнула в ее взгляде, остановившемся на мне. Как

пьяная, со смутным чувством стыда очнувшись от дурмана, стояла она передо мною. — На улице он будет хныкать, оплакивая свои деньги, еще побежит чего доброго в полицию, скажет, что мы его обобрали. А завтра опять явится. Но я ему все-таки не достанусь. Всем, только не ему.

Она подошла к стойке, бросила на нее несколько монет и залпом выпила рюмку водки. Злой огонь опять загорелся в ее глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней пересилило во мне жалость. — До свиданья! — сказал я. Ответила только хозяйка. Женщина не оглянулась и лишь засмеялась хрипло и насмешливо.

Улица, когда я вышел, была сплошной ночью и небом, сплошной душной мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете Жадно вдохнул я теплый, но все же бодрящий воздух; страх и омерзение растворились в великом изумлении перед тем, как многообразны судьбы людские, и снова я ощутил, — это чувство способно радовать меня до слез, — что за каждым окном неминуемо притаилась чья-нибудь судьба, каждая дверь вводит в какую-нибудь драму; жизнь вездесуща и многогранна, и даже грязнейший уголок ее так и кишит, словно блестящими навозными жуками, готовыми образами.

Забылось все гнусное в виденном мною, нервное напряжение перешло в сладостную истому, и меня уже тянуло преобразить пережитое в приятных сновидениях. Я невольно огляделся по сторонам, стараясь найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков. Но тут, по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне, какая-то тень выросла передо мною.

— Простите, — я сразу узнал этот смиренный голос, — но вы, кажется, заблудились. Не разрешите ли.

Не разрешите ли показать вам дорогу? Вы где изволите жить...

Я назвал свою гостиницу.

— Я провожу вас... если позволите, — тотчас же прибавил он униженным тоном.

Мне опять стало жутко. Эти крадущиеся, призрачные шаги, почти неслышные и все же неотступные, во мраке портового квартала, вытеснили мало-помалу воспоминание о пережитом, заменив его каким-то безотчетным смятением. Я чувствовал смиренное выражение его глаз, не видя их, замечал подергивание губ; я знал, что он хочет со мной говорить, но не поощрял и не останавливал его, подчиняясь овладевшему мной дурману, в котором любопытство сочеталось с физической скованностью. Он несколько раз кашлянул, я угадывал его подавляемые попытки заговорить, но какая-то жестокость, таинственным образом передававшаяся мне от той женщины, тешилась происходившей в нем борьбой между стыдом и душевным порывом, я не приходил ему на помощь, предоставляя молчанию черной тучей тяготеть над нами. И вразброд звучали наши шаги, его — скользящие, старческие, мои — нарочито гулкие и энергичные, в стремлении уйти от этого грязного мира. Все сильнее чувствовал я напряжение, возникшее между нами: истощенным немим криком было это молчание до отказа натянутой струны; но вот, наконец, он нарушил его — с какою отчаянной робостью! — и заговорил:

— Вы были там... вы были... сударь... свидетелем очень странной сцены... Простите... простите, что я к ней возвращаюсь, но она должна была показаться вам очень странной... а я — очень смешным... Эта женщина... она, видите ли...

Он опять запнулся. Что-то комом стояло у него в горле. Потом голос у него упал до шепота, и он

торопливо пролепетал: — Эта женщина... она моя жена.

Я, вероятно, вздрогнул от удивления, потому что он поспешил добавить, словно оправдываясь: — То есть... она была моей женой... Лет пять тому назад... В Гессене, в Герацгейме, я оттуда родом. Я не хотел бы, сударь, чтобы вы были о ней дурного мнения... Это, может быть, моя вина, что она такая... Она такой не всегда была... Я... я мучил ее. Я взял ее, хотя она была очень бедна, даже белья у нее не было, ничего, решительно ничего... а я богат, то есть состоятелен... не богат... или, во всяком случае, в ту пору у меня водились деньги и знаете ли, сударь, я, может быть, и вправду был — она права — бережлив... но это все раньше, до несчастья, и я себя за это проклинаю. Но и отец мой был бережлив, и мать, все... И мне каждый грош доставался с большим трудом... а она была легкомысленна, любила красивые вещи... и при этом была бедна, и я постоянно попрекал ее этим... Мне не следовало так поступать, теперь я это знаю, сударь, потому что она горда, очень горда... Вы не думайте, что она такая, какой притворяется... Это неправда, и она сама себя этим мучает только... только для того, чтобы меня мучить, и... потому что... потому что ей стыдно... Может быть, она и вправду стала дурной женщиной, но я... я этому не верю... потому что, сударь, она была хорошая, очень хорошая.

Он вытер глаза и остановился, преодолевая волнение. Невольно я взглянул на него, и вдруг он перестал казаться мне смешным, и даже это странное, угодливое обращение «сударь», которым пользуются в Германии только низшие сословия, не коробило меня больше. Лицо его говорило о том, каких усилий ему стоит каждое слово, и когда он, пошатываясь, тяжело ступая, пошел дальше, глаза его были устремлены на камни мостовой, как будто он читал на них в неверном

свете луны то, что так мучительно вырывалось из его сдавленной гортани.

— Да, сударь, — сказал он, глубоко переводя дыхание и совсем другим, низким голосом, исходившим как бы из сокровенных глубин его души, — она была хорошая, добрая, добрая и ко мне, была очень благодарна за то, что я избавил ее от нищеты... и я знал, что она благодарна... но... я хотел это слышать... вновь и вновь... мне было радостно слушать слова благодарности, сударь, так бесконечно радостно воображать, что я лучше ее... а ведь я знал, знал, что я хуже... Я отдал бы все свои деньги за то, чтобы это постоянно слышать... А она была очень горда и не хотела повторять, когда заметила, что я требую ее благодарности... Поэтому... только поэтому, сударь, заставлял я ее всегда просить... никогда не давал добровольно... Мне приятно было, что из-за каждого платья, из-за каждой ленты ей приходилось попрошайничать... Три года я ее мучил, и все сильнее... Но я это делал, сударь, только потому, что любил ее... Мне нравилось, что она горда, и все же в моем безумии я всегда хотел сломить ее гордость... и когда она что-нибудь просила, я сердился... Но это было, сударь, притворством... для меня была блаженством каждая возможность ее унижить, потому что... потому что я и сам не знал, как люблю ее...

Он опять умолк. Шел он, сильно пошатываясь. Обо мне он, по-видимому, совсем забыл. Говорил бессознательно, как во сне, и голос его становился все громче.

— Это... это я понял тогда лишь... в тот злосчастный день... когда я отказал ей в деньгах для ее матери, в совсем ничтожной сумме... то есть я уже приготовил их, но хотел, чтобы она пришла еще раз... еще раз попросила... Так что я говорил?... да, тогда я это понял, когда вернулся домой, а ее не было, только записка на

столе... «Оставайся при своих проклятых деньгах, мне больше ничего не надо от тебя»... вот что было написано, больше ничего... Сударь, я три дня и три ночи безумствовал. Велел обыскать лес и реку, переплатил уйму денег полиции... бегал по всем соседям, но они только смеялись и глумились... Никаких следов не удалось найти, никаких... Наконец, мне сказали в соседней деревне, что видели ее... в поезде с каким-то солдатом... она уехала в Берлин... В тот же день и я туда поехал... бросил свое дело... потерял много тысяч... меня обокрали мои работники, мой управляющий, все, все... Но, клянусь вам, сударь, мне было все равно... Я прожил неделю в Берлине, прежде чем разыскал ее в этом людском водовороте... и пошел к ней... — Он замолчал и тяжело перевел дыхание.

— Сударь, клянусь вам... ни слова упрека не сказал ей... я плакал... стоял на коленях... предлагал ей деньги... все свое состояние, пусть распоряжается им, потому что тогда я уже знал... знал, что не могу жить без нее... Я люблю каждый волосок ее... ее рот, ее тело, все, все... и ведь это я, один я столкнул ее... Она побледнела как смерть, когда я неожиданно вошел... я подкупил ее хозяйку, сводню, гадкую, низкую женщину... Она была, как мел, бледна... Выслушала меня. Сударь, мне кажется, она... да, она почти обрадовалась, увидев меня... Но когда я заговорил о деньгах... а ведь сделал я это только для того, чтобы показать ей, что больше не думаю о них... то она плюнула... а потом... так как я все еще не хотел уходить... позвала своего любовника, они надо мной издевались... Но я, сударь, все равно ходил туда каждый день. Жильцы того дома рассказали мне все, я узнал, что этот негодяй ее бросил, что она в нужде, и тогда я пошел еще раз к ней... еще раз, сударь, но она накинулась на меня и разорвала деньги, которые я украдкой положил на стол, а когда я все-таки опять

пришел, ее уже не было... Чего только не делал я, сударь, чтобы разыскать ее снова! Целый год, клянусь вам, я не жил, я только выслеживал ее, нанимал агентов, пока не узнал, наконец, что она за морем, в Аргентине... в одном... в одном дурном доме... — Он умолк задыхаясь. Последние слова он едва прохрипел. Потом опять заговорил, глухо, с трудом.

— Я очень испугался... сперва... но потом подумал, что по моей, только по моей вине она до этого дошла... И я знал, как сильно должна она, бедная, страдать... потому что она горда, прежде всего горда... Я пошел к своему поверенному, тот написал в консульство и послал деньги... не указав, от кого... лишь бы только она вернулась. Мне телеграфировали, что все удалось... я знал, на каком пароходе... и поджидал его в Амстердаме... Приехал за три дня, так я горел нетерпением... Наконец, он прибыл... какое это было счастье, когда дым показался на горизонте, я думал, у меня не хватит сил дожждаться... так медленно, медленно он причаливал, и потом пассажиры начали спускаться по сходням, и, наконец, она, она... Я ее не сразу узнал... Она была другая... накрашенная... и уже такая... такая, какую вы ее видели. И когда она меня заметила, она вся помертвела... два матроса подхватили ее, иначе она упала бы в воду. Чуть только она ступила на берег, я подошел к ней. Я не говорил ничего, спазма сдавила горло... Она тоже ничего не говорила и не смотрела на меня... Носильщик пошел вперед с вещами, мы шли и шли... Вдруг она остановилась и сказала... сударь, как она это сказала... так мучительно больно мне сделалось, так печально это прозвучало... «Ты все еще согласен, чтобы я была твоей женой? Еще и теперь?..» Я взял ее за руку... Она вздрогнула, но не сказала ничего. Но я чувствовал, что теперь все опять хорошо... Сударь, как счастлив я был! Я плясал вокруг нее, как ребенок, когда мы вошли в

комнату, я упал к ее ногам... Говорил глупости, должно быть... потому что она улыбалась сквозь слезы и ласкала меня... очень робко, разумеется... но, сударь... каким это было для меня блаженством... сердце мое таяло... Я бегал по лестнице вниз, вверх, заказал обед в ресторане при гостинице... наш свадебный обед... помог ей одеться, и мы сошли вниз, ели, пили, веселились... Она была весела, как ребенок, такая сердечная, добрая, и говорила о нашем доме... и как мы теперь опять проживем... но тут... — Голос его вдруг сорвался, и он сделал рукою движение, словно хотел кого-то сокрушить. — Там был один официант... скверный, низкий человек... он подумал, что я пьян, потому что я безумствовал и плясал... и валился со стула от смеха... а ведь я только был счастлив, так счастлив! И вот, когда я заплатил, он дал мне на двадцать франков меньше сдачи... Я на него накричал и потребовал остальное... Он смутился и положил золотую монету на стол. И тут... она вдруг громко расхохоталась... Я смотрел на нее, но это было другое лицо... оно сразу стало насмешливым и злым... «Какой ты все еще дотошный... даже в день нашей свадьбы!» — сказала она так холодно, резко... с жалостью... Я испугался, проклинал свою мелочность... старался опять развеселиться... Но ее веселье исчезло... умерло... Она потребовала отдельную комнату... чего бы я не сделал для нее... и я лежал ночью один и все думал, что бы ей купить на другое утро... как бы ее задарить... показать ей, что я не скуп... что для нее мне ничего не жалко... И рано утром пошел и купил ей браслет, и когда я вернулся... комната была пуста... совсем, как в тот раз. И я знал, на столе должна быть записка... Я убежал, я молился богу, чтобы это было не так... но... но записка все-таки лежала на столе... И я прочел...

Он замялся. Я невольно остановился и посмотрел на него. Он понурил голову. Потом хрипло прошептал: — Я

прочел... «Оставь меня в покое. Ты мне противен...»

Мы уже подошли к гавани, и вдруг в тишину ворвалось шумное дыхание надвигавшегося прибоя. С горящими глазами, точно большие черные звери, стояли там корабли, одни вблизи, другие подальше; откуда-то доносилась песня. Все было неразлично, и все же многое чувствовалось — тяжелый сон и тревожные грезы приморского города. Рядом с собою я видел тень моего спутника, она дергалась у меня под ногами, то растекаясь, то сжимаясь в неверном тусклом свете фонарей. У меня не было слов ни в утешение, ни для вопроса, но молчание его точно липло ко мне, давило своей тяжестью. Вдруг он схватил меня за руку.

— Но я не уеду отсюда без нее... Много месяцев я ее разыскивал... Она меня терзает, но я не отступлюсь... Умоляю вас, сударь, поговорите с ней... Она должна быть моею, скажите ей это... меня она не слушает... Я больше не могу так жить... Я не могу больше видеть, как мужчины ходят к ней... и ждать перед домом, когда они выйдут... пьяные... Вся улица уже знает меня... надо мной смеются, потому что я стою и жду... это меня сводит с ума, и все-таки я каждый вечер опять прихожу... Сударь, умоляю вас... поговорите с ней... Я вас не знаю, но сделайте это ради господа бога... поговорите с ней.

Я невольно сделал движение, пытаюсь вырвать руку. Мне было страшно. Но когда он почувствовал, что я отстраняюсь от его горя, он вдруг упал посреди улицы на колени и обхватил мои ноги.

— Заклинаю вас, сударь... Вы должны с ней поговорить... Должны... иначе... иначе случится несчастье... Я истратил все свои деньги, разыскивая ее, и здесь я ее не оставляю... живой не оставляю... Я купил себе нож... У меня, сударь, есть нож... Я ее не оставляю тут... живой... Я не вынесу этого... Поговорите с ней, сударь.

Он в исступлении корчился передо мной. В конце улицы показались двое полицейских. Я силой заставил его встать. С минуту он оторопело смотрел на меня, потом сказал совсем чужим голосом, сухо и деловито:

— Сверните по этой улице налево. Там ваша гостиница. - Еще раз уставился он на меня глазами, в которых зрачки словно расплавились в какой-то ужасающей белой пустоте. Потом он исчез.

Я плотнее закутался в плащ. Меня знобило. Только усталость чувствовал я, дурман, непроницаемый и черный, точно я спал на ходу. Я хотел собраться с мыслями и все обдумать, но всякий раз во мне поднималась и уносила меня эта черная волна утомления. Я добрел до гостиницы, свалился на кровать и заснул, тупо, как животное.

Наутро я уж не знал, что в этом происшествии было явью, что сном, и безотчетно противился тому, чтобы в этом разобраться. Проснулся я поздно, чужой в чужом городе, и пошел осматривать церковь, которая, как мне сказали, славилась древней мозаикой. Но глаза мои не воспринимали того, что видели, все явственнее вставала в памяти встреча минувшей ночи, и меня непреодолимо потянуло в тот переулок, к тому дому. Но эти своеобразные улицы живут только по ночам, днем на них серые холодные маски, под которыми узнать их может только посвященный. Я не нашел этого переулка. Усталый и раздосадованный, вернулся я домой, преследуемый видениями не то бреда, не то действительности.

Поезд мой уходил в девять часов вечера. С сожалением покидал я город. Носильщик взвалил на плечи мой багаж и, шагая впереди меня, понес его к вокзалу. И вдруг на одном перекрестке что-то словно кольнуло меня, и я круто остановился: я узнал поперечную улицу, ведущую к тому дому, велел подождать носильщику, который сначала не понял, но

тут же ухмыльнулся с наглой фамильярностью и пошел взглянуть на место происшествия.

Было темно, темно, как накануне, и в тусклом свете луны поблескивала застекленная дверь того дома. Я хотел подойти ближе, но вдруг что-то зашевелилось во мраке. С испугом узнал я того, вчерашнего; он сидел на пороге и знаками подзывал меня. Мне стало страшно, я повернулся и быстро зашагал прочь, из малодушной боязни, как бы не ввязаться в какую-нибудь историю и не опоздать на поезд.

Но дойдя до перекрестка, прежде чем свернуть за угол, я еще раз оглянулся. И я увидел, как человек, сидевший на пороге, вскочил, бросился к двери и порывисто распахнул ее; что-то блестящее было зажато в его руке: я издали не мог разглядеть, золото или лезвие ножа так предательски блеснуло в лунном свете...

notes

Примечания

«Вольный стрелок» — популярная опера выдающегося немецкого композитора Карла Мариа Вебера (1786–1826), написанная в 1820 году. Выразительные, легко запоминающиеся мелодии оперы получили широкое распространение и стали народными песнями. *(Прим. Ю.Шейнина)*